

Григорий Богослов



ПИСЬМА



Святитель Григорий Богослов, архиепископ Константинопольский, вошел в историю Православной церкви как величайший творец христианской литературы.

Сочинения святителя Григория — слова, письма, стихи и молитвы — показывают его высокое стремление быть проповедником, достойным истины Христовой. Ему был ниспослан дар слова, и святой хотел принести его в дар Богу — Слову: «Сей дар приношу я Богу моему, сей дар посвящаю Ему: — это одно, что осталось у меня и чем богат я; от всего прочего отказался я по заповеди Духа; всё, что ни имел, променял за драгоценную жемчужину. Только словом владею я, как служитель Слова; никогда добровольно не хотел бы пренебрегать этим богатством, я уважаю его, дорожусь им, утешаюсь им более, чем другие утешаются всеми сокровищами мира».

Книга святителя Григория Богослова «Письма» положит начало изучению великого наследия вселенского отца и учителя.

Святитель Григорий Богослов

Письма

1. К Василию Великому (5)

Число *сие*
показывает *порядок*
письма в *Биллиевом*
издании.

В неисполнение своего обещания жить вместе со Св. Василием извиняется необходимостью услуживать родителям и предлагает способ примирить требования обещания и долга.

(358 г.)

Признаюсь, изменил я обещанию жить и любомудрствовать вместе с тобой, как дал слово еще в Афинах во время тамошней дружбы и тамошнего слияния сердец (ибо не могу найти более приличного выражения). Но изменил не добровольно, а потому, что один закон превозмог над другим, закон, повелевающий прислуживать родителям, над законом товарищества и взаимной привычки. Впрочем, и в этом не изменю совершенно, если ты будешь согласен на то же самое. Иногда я буду у тебя, а иногда ты сам благоволи навещать меня, чтобы все было у нас

общее и права дружбы остались равночестными. Так можно мне будет и родителей не оскорблять, и быть вместе с тобой.

2. К нему же (6)

Поелику Св. Василий шутливо писал о стужах и ненастье в Тиверине, местопребывании Св. Григория, то с подобной шуткой отзывается о самом Св. Василии и месте его жительства — Кесарии.

Несносно мне, что ты, великий нелюбитель грязи, привыкший ходить на пальцах и попирать гладкие мостовые, человек парящий, выпранный, уносимый со стрелой Авариса, упрекаешь меня Тиверином, здешними стужами и ненастьями, и хотя сам каппадокиянин, однако же бегаешь того, что в Каппадокии. Тем разве делаем вам обиду, что вы бледнеете, с трудом переводите дыхание и солнцем пользуетесь в меру, а мы тучнеем, пресыщаемся и не заключаем себя в тесные пределы? Но последнее принадлежит вам. Вы роскошествуете, вы обогащаетесь, у вас бывают торжища. Не хвалю этого. А потому или перестань укорять меня за грязь, ибо не ты построил город и не я сделал ненастья, или и я тебе вместо грязи укажу на корчемников и на все, что бывает в городах дурного.

3. К нему же (7)

Посетив Св. Василия в его Понтийской пустыне, шутливо описывает оную (после 360 г.).

Смейся, черни все наше или в шутку, или и в правду, — не в том дело, — будь только весел, упоевайся своей ученостью и наслаждайся моей дружбой. А для меня, если что от тебя, чтобы оно ни было и каково бы ни было, все приятно. И если только понимаю тебя, мне кажется, что и над здешним смеешься не для того, чтобы осмеять, но для того, чтобы меня привлечь к себе, как и реки для того преграждают, чтобы заставить их течь иначе. Ты и всегда поступаешь так со мной.

Буду же дивиться твоему Понту и понтийскому сумраку, этому жилищу, достойному беглецов, этим висящим над головой гребням гор и диким зверям, которые испытывают вашу веру, этой лежащей внизу пустынке, или кротовой норе, с почетными именами обители, монастыря, училища, этим лесам диких растений, этому венцу стремнистых гор, которым вы не увенчаны, но заперты. Буду дивиться тому, что в меру у вас воздух и в редкость солнце, которое как бы сквозь дым видите вы, понтийские киммерияне, люди бессолнечные, не на шестимесячную только осужденные ночь, как рассказывают об иных, но

даже никогда в жизни не бывающие без тени, люди, у которых целая жизнь — одна длинная ночь и в полном смысле (скажу словами Писания) сень смертная (Лк. 1:79). Хвалю также этот узкий и тесный путь, который не знаю куда ведет — в Царство или в ад, но для тебя пусть ведет он в Царство. А что в середине, то не назвать ли мне, если хочешь (только, конечно, не вправду), Эдемом и разделяемым в четыре начала источником, из которого напоевается вселенная? Или наименовать сухой и безводной пустыней, которую удобрит какой — нибудь Моисей, жезлом источивший воду из камня? Ибо что не завалено камнями, то изрыто оврагами; а где нет оврагов, там все заросло тернием; и над тернием утес, и на утесе стремнистая и ненадежная тропинка, которая ум путника приучает к собранности и упражняет в осторожности. Внизу шумит река; и это у тебя, высокоглаголивый творец новых наименований, это амфиполийский и тихий Стримон, обильный не рыбами, но камнями, не в озеро изливающийся, но увлекаемый в пропасть. Река велика и страшна, заглушает псалмопение обитающих вверху; в сравнении с ней ничего не значат водопады и пороги, столько оглушает вас день и ночь! Она стремительна, непреходима, мутна и негодна для питья; в одном только снисходительна, что не уносит вашей обители, когда горные потоки и

ненастья приводят ее в ярость. И вот все, что знаю об этих счастливых островах или о вас, счастливцах. А ты не выхваляй тех луновидных изгибов, которые больше подавляют, нежели ограждают подход в ваше подгорье; не выхваляй этой вершины, висящей над головами, которая жизнь вашу делает Танталовой; не хвали мне этих провевающих ветерков и этой земной прохлады, которые освежают вас, утомленных до омрачения; не хвали и певчих птиц, которые хотя и воспевают, но голод, хотя порхают, но в пустыне. Никто к вам не заходит, разве для того, говоришь, чтобы погоняться за зверем; присовокупи же к этому: и посмотреть на вас, мертвецов. Все это длиннее, может быть, письма, но короче сатиры. И ты, если шутку мою примешь спокойно, поступишь справедливо. А если нет, присовокуплю к этому и большее.

4. К нему же (8)

Продолжение той же шутки.

Поелику шутку мою принимаешь спокойно, присовокуплю и остальное. А начало у меня из Гомера. «Итак, продолжай и внутреннюю воспевай красоту», этот кров без крыши и дверей, этот очаг без огня и дыма, эти стены, высушенные на огне, чтобы брызгами грязи не закидывало нас, которые

походим на Тантала и на осужденных, томящихся жаждой в воде, и это бедное и непитательное угощение, к которому, не как к скудной снеди лотофагов, но как к трапезе Алкиноевой, пригласили из Каппадокии меня, недавно претерпевшего кораблекрушение и бедствующего; потому что помню, да и буду помнить, эти хлебы и эти, как называли их, варения, помню, как зубы скользили по кускам, а потом в них вязли и с трудом вытаскивались, как из болота. Все это величественнее изобразишь сам ты, почерпнув велеречие в собственных своих страданиях, от которых если бы не избавила нас вскоре великая подлинно нищелюбица (разумею мать твою), явившаяся к нам благовременно, как пристань обуреваемым в море, нас давно бы уже не было в живых и мы за свою понтийскую верность возбуждали бы других не столько к похвалам, сколько к сожалению. Как же мне умолчать об этих садах, не похожих ни на сад, ни на огороды? И об Авгиевом навозе, вычищенном из дому, которым мы наполняли сии сады, когда телегу величиной с гору и я — Вотрион и ты — Ламир¹ возили на

¹ Слова Вотрион и Ламир оставлены без перевода. Можно догадываться, что это были имена, какие Св. Василий и Св. Григорий давали в шутку друг другу, возя на себе телегу.

этих самых плечах и этими самыми руками, на которых и доселе остаются следы тогдашних трудов, и все это (о земля и солнце, о муж и добродетель! скажу словами трагика) не для того, чтобы соединить берега Геллеспонта, но чтобы заровнять овраг. Если рассказы о сем не оскорбительны для тебя, то, конечно, не оскорбительны и для меня. А если тебе горько слышать, то каково самое дело? И о многом еще умолчу из уважения ко многому прочему, чем наслаждался.

5. К нему же (9)

Оставив шутку, с услаждением вспоминает время, проведенное у Св. Василия в его Понтийской пустыне.

Что прежде писал я о понтийском препровождении времени, то была шутка, а не правда. А что пишу теперь, то уже очень правда. Кто мя устроит по месяцам преждних дней (Иов. 29:2), в которые я увеселился с тобой злостраданием; потому что скорбное, но добровольное предпочтительнее приятного, но невольного? Кто даст мне сии псалмопения, бдения и молитвенные к Богу преселения? Кто даст жизнь как бы невещественную и бесплотную? Кто даст согласие и единомушие братий, которых ты ведешь

на высоту и к обожению? Кто даст соревнование и поощрение к добродетели, которое мы ограждали письменными уставами и правилами? Кто даст трудолюбие в чтении Божиих словес и при путеводительстве Духа обретаемый в них свет? Кто даст (скажу о самом малом и незначительном) поденные и ручные работы — переноску дров, тесание камней, сажание, поливание? Кто даст этот золотой явор, который дороже Ксерксова, под которым сиживал не царь пресыщенный, но монах изнуренный, который насадил я, напоил Аполлос, или твоя пречестность, а возрастил Бог к моей чести, чтобы сохранялся он у вас памятником моего трудолюбия, как читаем и верим, что и в кивоте хранился прозябший жезл Ааронов? Легче пожелать всего этого, но не так легко получить сие. Приди же ко мне на помощь, соедини со мной свои усилия, содействуй мне в добродетели; и если собрали мы прежде что — либо полезное, то охраняй сие своими молитвами, чтобы не рассеяться мне понемногу, как рассеивается тень с преклонением дня. А я тобой дышу более, нежели воздухом, и тем единственно живу, что бываю ли с тобой вместе или розно, но мысленно всегда неразлучен.

6. К Адамантию (199)

Посылая по просьбе его риторические книги, извещает о себе, что перестал заниматься подобными предметами, принеся все это в дар Слову, и ему советует пользоваться сим во благо, так чтобы страх Божий превозмогал суетность.

Просишь ты у меня книг, потому что с юношеским жаром занимаешься риторикой, с которой я распростился, по Божию вразумлению и для Бога обратив взоры горе; потому что надобно же было когда — нибудь перестать мне заниматься игрушками и лепетать по — детски, а заглянуть в истинную ученость и вместе с другим, что только у меня было, в дар Слову принести и слова. Лучше было бы, если бы попросил ты книг божественных, а не этих, потому что, как знаю, первые тебе и полезнее и свойственнее. Но поелику берет над тобой верх худшее и переуверить тебя невозможно, то вот тебе и книги, каких у меня спрашиваешь и сколько уцелело их от моли и дыма, над которым они коптили, как у мореходцев ручка от руля по окончании плавания и времени, способного к плаванию. А ты поплатись мне за софистику, не скупясь и не робея, но показав себя во всем блеске и мужестве; потому что у вас в великой цене и Кинегиры и Каллимахи, марафонские и саламинские победные памятники, ради которых и сами себя почитаете, и молодых людей думаете сделать счастливыми. Для нас это, хотя не ко

времени и не по нашим правилам, а по старой только привычке, пусть и доселе служит одной забавой; а тебе желаю и приобрести, и приобретенным пользоваться во благо. Но пользуйся так, чтобы страх Божий (а Бога всем и всегда чтить должно) превозмогал суетность, сколько возможно сие для нас, которые не совсем избавляемся от оной. А если, хотя справедливым тебе кажется сказанное, однако же не считаешь делом любомудрия требовать платы за книги, то скажу: пришли только деньги, а возражение решат нищие.

7. К Кесарию брату (17)

Выражает свою и всех домашних своих скорбь о том, что Кесарий остался на службе при дворе по вступлении на престол Юлиана (361 г.).

Довольно было нам стыда за тебя. Ибо о том, что мы огорчились, нужно ли и писать тебе, который больше всякого в том уверен? Не говоря о себе и о том, каким беспокойством, а позволь даже сказать, и страхом исполнил нас слух о тебе, желал бы я, чтобы ты, если бы это было возможно, сам послушал, что говорят о тебе и о нас другие, и свои и посторонние, сколько ни есть нам знакомые, если только они христиане. И не только одни говорят, а другие нет; напротив того, все равно и в один голос

это повторяют; потому что людям приятнее рассуждать о чужих делах. И вот обратилось им как бы в постоянное занятие говорить следующее: «И епископский сын ныне уже в службе домогается мирских чинов и славы, уступает над собой победу корыстолюбию, потому что ныне все воспламенено страстью к деньгам и для них не щадят люди души своей, а нимало не поставляют для себя и единственной славы, и безопасности, и обогащения в том, чтобы мужественно противоборствовать времени и поставить себя как можно дальше от всякой нечистоты и скверны! Как теперь епископы уговорят другого не увлекаться временем, не оскверняться общением с идолами; как теперь наказывать проступившихся в чем ином, когда сам епископ не смеет сказать слова по причине случившегося у него в доме?» Вот что или еще и гораздо сего худшее слышим мы каждый день и от тех, которые говорят это, может быть, по дружбе, и от тех, которые нападают из неприязни. С каким же, думаешь, расположением и с каким духом принимаем это мы, решившиеся служить Богу и признавшие единственным благом устремлять взор к будущим надеждам? Государя родителя нашего, который весьма огорчен слухами и которому от сего самая жизнь в тягость, утешаю еще и ободряю я несколько, ручаясь за твой образ мыслей и уверяя, что не будешь больше причинять нам печали. А

государыня мать, если услышит о тебе что — нибудь такое (а доселе пока разными выдумками скриваем от нее это), будь уверен, впадет в скорбь совершенно безутешную; потому что, как женщина, она менее тверда духом, и притом, по крайнему благоговению, не способна соблюсти меру в подобных случаях. Поэтому, если уважаешь сколько — нибудь себя и нас, придумай для себя что — нибудь лучшее и более надежное. Ибо, без сомнения, и того, что есть у нас здесь, достаточно, чтобы вести свободную жизнь человеку, который не слишком ненасытен и неумерен в пожелании большего. Притом не вижу, какого еще времени ждать нам, чтобы ты устроил жизнь свою, если пропустим настоящее. А если держишься прежнего образа мыслей и, чтобы удовлетворить своему стремлению, всего для тебя мало, то не намерен я говорить что — либо для тебя неприятное, а предскажу только и засвидетельствую, что необходимо одно из двух: или, оставаясь искренним христианином, принять на себя самую униженную долю христианина и действовать не соответственно своим достоинствам и надеждам, или, желая чести, потерпеть вред в главнейшем и участвовать если не в огне, то в дыме.

8. К Кандиану (194)

Хвалит его как за прочие доблести, так преимущественно за то, что не увлекается духом времени, и хотя сам язычник, однако же не враждует на христиан в подражание Юлиану, при котором служит.

Где теперь софисты? Для чего молчат стихотворцы? Каких ищут лучших речей или какого более блистательного предмета? Теперь надлежало бы, чтобы для тебя, как всякий музыкальный и гармонический язык приведен был в движение, так и всякое искусство витийства прозвучало что — нибудь высокое и потрясающее, не потому только, что почтить речью доброго начальника есть долг из всех долгов самый справедливый, но и потому, что всего свойственнее тем и другим искусством украсить память того, кто совершен в том и другом. Если бы я не прекратил своих речей преждевременно (чувствую это теперь) и если бы не положил (скажет иной: более поспешного, нежели мудрого) намерения не говорить больше похвальных слов и не вменил себе в любомудрие не посещать народных собраний, то, может быть, возгремел бы громче тирренских труб (скажу это, не убоясь, как говорит Пиндар, жесткого Момусова камня), разве бы только осудил на молчание свою незрелость. А теперь, что чувствую в рассуждении тебя и каково мое положение, скорее, может быть, поймешь из какого

— нибудь подобия. Как один из самых горячих коней, секу я помост ногами, грызу удила, поднимаю вверх уши, дышу из ноздрей яростью, смотрю грозно, извергаю пену, однако же остаюсь за преградой, потому что закон не дает мне свободы бежать. Итак, что ж? Когда так уже надобно, что остается мне делать? Вовсе ли бросить речи и молча дивиться твоим доблестям, другим предоставив хвалить тебя? Нет! Но другие пусть будут в числе хвалящих в тебе иное, что кому угодно и что кто может. Без сомнения же, доставишь ты достаточный предмет для многих речей и похвальных слов, если каждый станет хвалить тебя, избрав для сего часть твоих доблестей. Одни изберут управление общественными делами, и при этом благоразумие и вместе трудолюбие; потому что изобретет ли кто с большей твоей проницательностью, что нужно, или изобретенное приведет ли в исполнение деятельнее тебя? Другие возьмут себе на долю весы правосудия, как ты при ясном свете разбираешь тяжбы и при своей возвышенности доставляешь высокое торжество Фемиде. Хотя меч твой страшен, потому что может поразить, однако же, как никого не поражающий, он — святыня. Ты владеешь им не для того, чтобы наказывать погрешивших, но с намерением, чтобы никто даже и не погрешал и чтобы все покорствовало твоей

мысли больше, нежели могуществу других, для кого законом служит дерзость. Иные пусть удивляются в тебе могуществу дара слова, а если угодно, всем родам сего дара, сколько сие касается до умения оценить сказанное и до способности самому сказать; потому что ты способен судить о даре слова и еще способнее сам говорить, так что одно уподобляется в тебе золотому шару или Гомерову уровню, которым определяется равный рост коней Евмеловых, а другое превосходит и зимние снега. Теперь ты с таким же искусством раздаешь награды за подвиги, с каким прежде сам подвизался. Иные пусть хвалят в тебе строгость, срастворенную с кротостью, и то, что в самой приятности, как в львиных прыжках, нет у тебя ничего унижительного. Иные же укажут на то, как многомощное и почитаемое другими золото с иными почетными титлами не уважено на твоём суде и бежало оттуда прочь; а это одно уже выше и слуха и вероятия всех. А какой — нибудь поэт, свободный и независимый в искусстве, споет тебе и сельскую песнь, собрав хоровод земледельцев, и, пожав зрелые колосья, сплетет из них самый приятный венок, и возложит на главу виноградные ветви, переплетенные плющом и кудрявцем. «Таковы, — скажет он, — начатки приношений земледелия, снова тобой возвращенного людям. И камни да источат тебе молоко, и источники — мед,

и всякое растение, и заботливо воспитанное и дикое, покроеся нежными плодами!» Это обыкновенные изображения у стихотворцев, когда хотят представить, что земля приносит кому — либо свои дары. Когда же все это, как сказал я, будут говорить и выдумывать другие (потому что все свое не только приводит в восторг, как полагают лирики, но и всего более, обыкновенно, увеселяет), тогда я скажу о том, чем преимущественно восхищаюсь и что лобызаю в твоих доблестях, а именно что ты показываешь себя стоящим выше трудностей времени. Хотя по вере ты язычник и настоящему державцу воздаешь должное его державе, однако же служишь не как служат льстецы, соображающиеся со временем, но как друзья прекрасного и люди высокого образа мыслей; и сколько исполняешь свой долг, столько и к отечеству соблюдаешь благорасположение и в смертном деле приобретаешь бессмертную славу. К похвальным твоим качествам принадлежит и то, что при таком бремени правления уделяешь несколько уважения и дружбе и при таком числе дел находишь досуг не только помнить друзей, но и оказывать им честь своими письмами, свидетельствовать свою к ним любовь и всех привлекать к себе. За все это желаю тебе не чего — либо большого к прославлению (потому что хотя бы власть твоя и получила приращение, но

добродетель никакого уже приращения получить не может), но одного, что все заменит собой и что всего важнее, а именно чтобы ты наконец соединился с нами и с Богом, стал на стороне гонимых, а не гонителей; потому что одно влечется стремлением времени, а другое заключает в себе бессмертное спасение.

9. К Амфилохию (159)

Приветствует сего Амфилохия (впоследствии, вероятно, епископа Иконийского) с вступлением в должность судебного ходатая и просит для первого опыта принять на себя ходатайство по делу Евфалия (364) ².

Подопри золотыми столпами счастливый свой чертог, как говорит Пиндар, и добрым началом в настоящей должности дай нам знать о себе, что построишь и чудный дом, явясь в нем славным. А как дашь о себе знать? Воздав честь Богу и божественному; ибо что для тебя сего важнее и выше? А как же и чем воздашь честь? Тем одним, что примешь на себя попечение о предстоящих Богу и о служителях алтаря. Один из них —

² Можно предполагать по некоторым выражениям письма сего, что оно писано в кратковременное правление Иовиана.

сослужитель наш Евфалий, которого, когда уже поступил он в высший чин, не знаю почему, намереваются исключить из него воинские начальники. Не потерпи этого и прости свою руку к диакону и ко всему клиру, а более всех ко мне, о котором печешься ты. Иначе этот человек потерпит самую горькую участь, один не воспользовавшись человеколюбием настоящего времени и той честью, какую воздают цари священным лицам. Но может быть, подвергается он оскорблению и лишению за дружбу ко мне. И прекрасное дело — тебе не допустить до сего, хотя другим хочется не очень прекрасного дела.

10. К нему же (160)

Его же ходатайству поручает дело племянника своего Никовула, мужа Алипианы, дочери Горгониевой.

Хвалю изречение Феогнида, который, не одобряя дружбы, продолжающейся только пока пьем и бываем вместе, хвалит дружбу, выказываемую на деле. Что же он пишет?

За чашею много бывает друзей, а в важном деле их мало.

Мы с тобой не пивали из одной чаши и вместе бывали не часто (хотя, конечно, надлежало быть этому и по нашей дружбе, и по дружбе наших

отцов), требуем же друг от друга благорасположения в делах. Предстоит подвиг, и даже очень важный, потому что сын наш Никовул находится в неожиданных хлопотах, от кого всего менее думал иметь беспокойство. Потому прошу, приди и помоги, как можно скорее произнеся суд и защитив, если найдешь нас обиженными. А если не так, то по крайней мере не передавайся на противную сторону, за малую корысть отдав свою свободу, которой всегда ты пользовался, как знаем по общему всех свидетельству.

11. К Василию Великому (11)

Св. Василия, который против собственного желания рукоположен в пресвитера, примером своим поощряет к терпению и увещевает к ревностному исполнению обязанностей нового сана (364).

Хвалю начало твоего письма. Да и что твое не заслуживает похвалы? И ты взят в плен, как и я включен в список, потому что оба мы принужденно возведены на степень пресвитерства, хотя домогались и не этого. Ибо достовернее всякого другого можем засвидетельствовать друг о друге, что нам по сердцу любомудрие тихоходное, которое держится низу. Но хотя, может быть, и лучше было бы, если б не случилось с нами этого,

или не знаю, что и сказать, пока не уразумею домостроительства Духа, однако же поелику уже случилось, как мне по крайней мере кажется, надобно терпеть, особенно приняв во внимание время, которое у нас развязало языки многим еретикам, надобно терпеть и не посрамить как надежду возложивших на нас свое упование, так и собственную жизнь свою.

12. К Евсевию, епископу Кесарийскому (20)

Убеждает его переменить свое расположение к Св. Василию, на которого несправедливо он негодовал (365 г).

Поелику обращаю слово к человеку, который не любит лжи и пронизательней всякого открывает ложь в другом, сколько бы ни была она запутана самыми хитрыми и разнообразными изворотами, к тому же и мне самому (пусть будет это сказано, хотя и нелегко сказать) не нравится хитрость, и по природному моему расположению, и по внушению Писания, то и пишу по этой причине, что у меня на сердце. Снизойди к моему дерзновению; иначе обидишь, лишая меня свободы и принуждая скрывать в себе болезненную скорбь, подобно какому — то гнойному и злокачественному вереду. Как радуюсь, что делаешь мне честь (если и я

человек, как сказал некто прежде) и приглашаешь меня на духовные совещания и собрания, — так тяжело для меня оскорбление, какое терпел и доселе терпит от твоего благоговения досточестнейший брат Василий, с самого начала мной избранный и донныне остающийся для меня товарищем жизни, учения и самого высокого любомудрия; и я за такое избрание нимало не оуждаю себя, потому что скромнее будет сказать так, иначе подумают, что, выхваляя его совершенства, хвалю сам себя. Но ты, унижая его и оказывая честь мне, по моему мнению, поступаешь почти так же, как если бы кто одного и того же человека стал одной рукой гладить по голове, а другой бить по щеке или, подломав основание дома, начал расписывать его стены и украшать наружность. Поэтому, если убедишься сколько — нибудь моим словом, то сделаешь по — моему. А я прошу убедиться, потому что это и справедливо. Если обойдешься с ним, как должно, и он будет служить тебе. А мое дело следовать за ним, как тени за телом, потому что я человек малый, расположенный к миру, и не дошел еще до такого жалкого состояния, чтобы, желая в ином быть любомудрым и принадлежать к лучшей стороне, потерять мне из виду то, что в нашем учении самое главное, — именно любовь, особенно любовь к иерею, человеку почтенному, о котором знаю, что

он жизнью, словом и правилами превосходнее всех известных мне. И самая скорбь не помрачит во мне истины.

13. К нему же (169)

Оправдывается в смелости предыдущего письма.

Писанное мной не столько оскорбительно, как жаловался ты на мое письмо, сколько духовно, и любомудренно, и справедливо, разве только и это оскорбляет ученейшего Евсевия. Но хотя ты и выше по степени, однако же дай и мне несколько свободы и справедливого дерзновения, а потому будь к нам благосклоннее. Если же судишь о моем письме как о письме служителя, обязанного смотреть тебе в глаза, то в этом случае и удары приму, и плакать не буду. Или и это будет поставлено мне в вину? Но скорее всякому другому, нежели твоему благоговению, прилично поступать так, потому что великодушному человеку более свойственно принимать свободные речи от друзей, нежели ласкательства от врагов.

14. К нему же (170)

Изъявляет свою готовность быть у него в Кесарии вместе со Св. Василием.

И в других случаях пред твоим благоговением не поступал я низко, — не обвиняй меня в этом, — но, дозволив себе несколько свободы и смелости, чтоб сколько — нибудь облегчить и уврачевать скорбь, тотчас покорялся, смирялся и добровольно подчинял себя правилу. Да и мог ли не делать сего, зная тебя и законы Духа? А теперь, хотя бы я был и крайне низок и малодушен, не дозволяют сего и самое время, и эти звери, нападающие на Церковь, а также и твое благородство и мужество, так чисто и искренно ратоборствующее за Церковь. Поэтому, если угодно, придем соединить с тобой свои молитвы, вместе подвизаться, и служить тебе, и, подобно детям, которые поощряют к действию отличного борца, своими провозглашениями воодушевлять тебя в борьбе.

15. К Василию Великому (19)

Извещая о перемене к нему расположений еп. Евсевия, убеждает писать к нему и потом отправиться в Кесарию, причем и сам вызывается быть его спутником.

Вот случай явить благоразумие и терпение, чтобы никто не оказался мужественней нас и чтобы столько трудов и усилий не было уничтожено в короткое время! Для чего и по какому убеждению пишу это? Боголюбивейший наш епископ Евсевий

(ибо так уже надобно о нем думать и писать) весьма расположен к примирению и дружбе с нами и смягчается временем, как железо огнем. Думаю, что к тебе придет письмо просительное и пригласительное, о чем и он меня извещал, и уверяют многие из знающих достоверно об его расположениях. Предупредим его или приходом своим, или письмом, лучше же сказать, сперва письмом, а потом приходом, чтобы впоследствии не остаться в стыде, как побежденным, когда можно было самим победить, прекрасно и любомудренно уступив над собой победу, о чем просят нас многие. Итак, послушайся меня и приходи, как по сказанной причине, так и ради настоящего времени, потому что скопище еретиков нападает на Церковь: одни уже явились и производят беспокойства, а другие, как слышно, явятся, и есть опасность, что учение истины может быть извращено, если не подвигнется в скорости дух Веселеила, мудрого архитектора таких учений и догматов. Если признаешь нужным, чтобы пришел и я быть твоим споспешником и сопутником, то не уклонюсь и от этого.

16. К Григорию Нисскому (43)

Выговаривает ему за то, что, оставив должность чтеца, намерен посвятить себя риторству

(366 г.).

У меня в природе есть нечто хорошее (сам похваюсь из многого чем — нибудь одним). За худой совет одинаково досажую и на себя и на друзей. А поелику живущие по Богу и руководящиеся тем же Евангелием все друзья между собой и сродники, то почему же не выслушать от меня, если скажу открыто о том, о чем все говорят, но только шепотом? Не хвалят твоей, сказать по — твоему, бесславной славы, твоего понемногу уклонения к худшему и этого честолюбия, которое, как говорит Еврипид, злее демонов. Что с тобой сделалось, мудрый муж? За что прогневался ты сам на себя, бросив священные, удобопиемые книги, которые некогда читал народу? Неужели не стыдишься, слыша это? Или положил их под дым, куда кладут кормила и кирки на зимнее время, а взял в руки соленые и неприемые книги и захотел лучше именоваться ритором, нежели христианином? А по мне гораздо лучше последнее, нежели первое, и все благодарение за это Богу. И ты, превосходный, не держись таких мыслей. А если они пришли, не предавайся им надолго, но одумайся наконец, приди в себя, оправдайся пред верными, оправдайся пред Богом, пред алтарями, пред таинствами, от которых удалился. Не говори мне этих нарядных и витиеватых слов: «Что же, разве я не был

христианином, когда учился риторике? Разве не был верным, когда занимался науками в кругу детей?» Может быть, ты станешь еще свидетельствоваться всем Богом. Нет, чудный мой, это не совсем справедливо, хотя часть из этого и можем уступить тебе. Разве маловажно то, что теперешним своим поступком соблазняешь других, которые по природе более склонны к худому, и даешь им повод дурно о тебе думать и говорить? Пусть это будет и ложь, но какая в том нужда? Всякий живет не для себя одного, но и для ближних; мало самому быть убежденным, если не убеждаешь и других. Неужели, вступив в кулачный бой при народе или на зрелище принимая и раздавая пощечины, неблагопристойно кривляясь и ломаясь, скажешь, что в душе ты целомудрен? Такое рассуждение нецеломудренного человека, легкомысленно — одобрять это. Если переменишься, то порадуюсь теперь, сказал один из пифагорейских философов, оплакивая отпадшего от него друга. Если же нет, писал он, то умер ты для меня. А я не скажу этого из любви к тебе. Ибо тот, будучи другом, стал врагом, хотя, впрочем, и другом, как говорит трагедия. А я постараюсь вылечить тебя, если (ибо так сказать скромнее) сам не усмотришь должного (что в первом ряду похвальных дел) и не последуешь доброму слову другого (что во втором ряду похвального). Вот мое

увещание! Извини меня ради дружбы, что скорблю, горячусь как за тебя, так равно за весь священный чин, а присовокуплю, и за всех христиан. Если же нужно и помолиться вместе с тобой или за тебя, то немощи твоей да поможет Бог, животворящий и мертвых!

17. К Никовулу (155)

Для сего и последующих писем к Никовулу невозможно с точностью определить время. Но с вероятностью можно полагать, что писаны Св. Григорием до епископства его, почему и помещаются здесь.

В ответ на то, что жену свою Алипиану, дочь Горгонии, сестры Св. Григория, порицал за малый рост.

Осмеиваешь у нас Алипиану, будто бы она мала и недостойна твоей великости, длинный и огромный великан и ростом и силой! Теперь только узнал я, что и душа меряется, и добродетель ценится по весу, что дикие камни дороже жемчужин и вороны предпочтительней соловьев.

Возьми себе величину и рост в несколько локтей и ни в чем не уступай Церериным жницам, потому что ты правишь конем, мечешь копье, у тебя забота — гоняться за зверями, а у нее нет таких дел; не большая нужна крепость сил владеть челноком, обходиться с прялкой и сидеть за ткацким станом, — «а это — преимущество женщин».

Но если присовокупишь, как она до земли приклонена в молитве и высокими движениями ума всегда беседует с Богом, то перед этим что значат твоя высота и твой телесный рост? Посмотри на ее благовременное молчание; послушай, когда говорит; рассуди, как не привязана к нарядам, как по — женски мужественна, как радеет о доме, как любит мужа, и тогда скажешь словами этого лакедемонянина: «Подлинно, душа не меряется; и внешнему человеку должно иметь у себя в виду внутреннего». Если примешь это во внимание, то перестанешь шутить и смеяться над малым ее ростом, а назовешь себя счастливым за супружество с ней.

18. К нему же (3)

О том, что значит писать лаконически.

Писать лаконически не то, как ты об этом думаешь, — не просто написать не много слогов, но в немногих слогах заключить многое. Так Гомера

называю самым кратким писателем, а Антимаха — многословным. А почему? Потому что о длине речи сужу по содержанию, а не по числу букв.

19. К нему же (209)

О том, как писать письма.

Из пишущих письма (ты и об этом у меня спрашиваешь) одни пишут длиннее надлежащего, а другие слишком коротко; но те и другие погрешают в мере, подобно стреляющим в цель, из которых одни не докидывают стрелы до цели, а другие перекидывают ее за цель, в обоих же случаях равно не попадают в цель, хотя ошибка происходит от противоположных причин. Мерой для письма служит необходимость. Не надобно писать длинного письма, когда предметов немного; не надобно и сокращать его, когда предметов много. Поэтому что же? Должно ли мудрость мерить персидской верстой или детскими локтями и писать так несовершенно, чтобы походило это не на письмо, а на полуденные тени или на черты, положенные одна на другую, которых длины совпадают и более мысленно представляются, нежели действительно оказываются разлученными в одних из своих пределов и в собственном смысле, можно сказать, суть подобия подобий? Чтобы соблюсти меру, необходимо избегать

несоразмерности в том и другом. Вот что знаю касательно краткости; а в рассуждении ясности известно то, что надобно, сколько можно, избегать слога книжного, а более приближаться к слогу разговорному. Короче же сказать, то письмо совершенно и прекрасно, которое может угодить и неученому и ученому: первому тем, что приспособлено к понятиям простонародным, а другому тем, что выше простонародного; потому что одинаково не занимательны и разгаданная загадка, и письмо, требующее толкования. Третья принадлежность писем — приятность. А сие соблюдем, если будем писать не вовсе сухо и жестко, не без украшений, не без искусства и, как говорится, не до чиста обстрижено, т. е. когда письмо не лишено мыслей, пословиц, изречений, также острот и замысловатых выражений, потому что всем этим сообщается речи усладительность. Однако же и сих прикрас не должно употреблять до излишества. Без них письмо грубо, а при излишестве оных надуто. Ими надобно пользоваться в такой же мере, в какой красными нитями в тканях. Допускаем и иносказания, но не в большом числе и притом взятые не с позорных предметов, а противоположения, ответственность речений и равномерность членов речи предоставляем софистам. Если же где и употребим, то будем сие делать как бы играя, но не выисканно.

А концом слова будет, что слышал я от одного краснослова об орле. Когда птицы спорили о царской власти и другие явились в собрание в разных убранствах, тогда в орле всего прекраснее было то, что не думал быть красивым. То же самое должно всего более наблюдать в письмах, т. е. чтобы письмо не имело излишних украшений и всего более подходило к естественности. Вот что о письмах посылаю тебе в письме! Может быть, взялся я и не за свое дело, потому что занимаюсь важнейшим. Прочее дополнишь сам собственным своим трудолюбием, как человек понятливый, а также научат сему люди, опытные в этом деле.

20. К нему же (154)

Приглашает его к себе.

Бегаешь тех, которые за тобой гонятся, может быть, по правилам любовной науки, чтобы нанести себе больше чести. Итак, приходи и теперь восполни для нас потерю столь долгого времени. И если бы тебя задерживало какое из тамошних дел, то опять оставишь нас и тем сделаешься для нас еще более уважаемым, потому что опять будешь предметом наших желаний.

21. К Алипию (150)